

Если как-то попытаться «систематизировать» биографии русских поэтов, то можно обнаружить как минимум два типа судьбы. Первый представлен жизнью, «богатой» на внешние, как правило трагические сюжеты. В XX веке такая «участь» была уготована Анне Ахматовой, Марине Цветаевой, Осипу Мандельштаму, Борису Пастернаку (ряд можно продолжать) — поэтам, определившим логику литературного процесса современной им эпохи, оставившим мощную традицию. Все они оказались свидетелями страшных событий истории, но именно из этого ужаса XX века и прорастало их слово, в котором отчётливо звучал голос времени.

Другой вариант судьбы поэта — как раз противоположный: внешняя событийная канва вроде бы неприметная, может быть, даже бедная: статус «вольного литератора», подкреплённый трудом сторожа/грузчика/дворника. Подобная биография, как правило, даётся поэтам так называемого «второго» и — особенно — «третьего» ряда — тем, про кого литературовед Владимир Мусатов, перефразируя Арсения Тарковского, в своё время сказал: «это меньшая ветвь, а не ствол». Но дело в том, что такая неприметность, связанная ещё и с неизвестностью автора в широком литературном контексте, может быть для художника осознанным выбором, в котором обнаруживается следование высшему замыслу. Жизнь Владимира Гоголева и есть пример такого следования. В стихотворении, датированном сентябрём 1986-го — февралём 1987-го, поэт отрефлексировал собственный человеческий и творческий путь следующим образом:

*И сам неприметен средь родины стал,
И стал как шуршащий песок.
О, нет, я любил потаённую жизнь,*

*И в шорохе скорбном песка
Далёкие тени шептали во сне
О новой земле впереди.*

«Потаённая жизнь» потому и потаённая, скрытая, невидимая, что внутренняя: это жизнь не в «обёрточных пеленах», а в духе, в «сердцевине», по которой «человек — странник и гость», как писал об этом поэт в философском эссе «Охваченность», опубликованном на сайте «PROMETA»¹. Закономерно, что в стихах Гоголева полностью отсутствует всякая автобиографичность: они открывают духовную жизнь автора.

После развода (в конце 80-х) Гоголев, по сути, оказался без дома: переехал из Москвы в Красково, где поселился на даче Александры Исаевны Гулыги (1921–1996), писавшей под псевдонимом Александра Исаева, литературоведа, переводчика с немецкого и французского языков). По словам Натальи Стеркиной — человека, хорошо знавшего Владимира Гоголева, — «там, “под деревьями”, в его облике уточнилась его внутренняя суть, он был поэтом, жил поэтом, отходило куда-то лишнее». Известные нам стихи Гоголева все датированы 80-ми годами: именно на это десятилетие пришлось его становление как художника. Он писал много, но тексты нигде не публиковались: «С одной стороны, он, по-видимому, понимал невозможность этого, а с другой стороны, был просто равнодушен на этот счёт»² (Ольга Васильева). Единственная книга — «Ранимое зренье» — была издана в 1990-м году друзьями Гоголева уже после его смерти. По свидетельству Натальи Стеркиной, книга эта полностью воспроизводила «самодельный» сборник Владимира, который он напечатал на машинке и переплёл к своему сорокалетию.

Видимо, прижизненное «молчание», принципиальная безызвестность (хотя человеком он был, судя по воспоминаниям современников, достаточно общительным) и были подтверждением подлинности творчества, своего рода объективацией религиозно-философских идей, развёрнутых в стихах.

Эстетический контекст 80-х годов в России был представлен целым рядом поэтических школ и направлений: это и клас-

¹ URL: <http://prometa.ru/colleague/gogolev/2/1>

² Васильева О. «Беззвучный глас» // Духовный собеседник. 2018. №2. С. 135-142. В дальнейшем все цитаты из статьи приводятся по этому источнику.

сическая традиция (Белла Ахмадулина, Владимир Корнилов, Юрий Кублановский), и метареализм (Иван Жданов, Александр Ерёменко), и концептуализм (Дмитрий Александрович Пригов). Отдельно следует назвать авторскую песню (Булат Окуджава, Владимир Высоцкий) и рок-поэзию (Виктор Цой, Александр Башлачёв) как сложные художественные явления. В это же время, начиная с 1970-х годов, по замечанию поэта и литературоведа Сергея Стратановского, «во “второй культуре” были сильны религиозные христианские тенденции, чуждые авангардизму»³. Так, с 1970-х годов можно говорить о возрождении духовного течения в поэзии.

Творчество Владимира Гоголева вписывается в контекст этого духовного течения, хотя в стихах поэта нет систематических отсылок к Священному Писанию, отсутствуют интерпретации библейских сюжетов, упоминания святых (исключение составляет разве что стихотворение «Мария Египетская»). (Сам поэт, кстати, принял крещение только в самом начале 80-х — после странного видения собственной смерти. До этого момента, как свидетельствует воспоминание Ольги Васильевой, он «не понимал, для чего нужно было креститься лично ему»). Однако всё его творчество исходит из глубокого и подлинного переживания Бога, вырастает из религиозного чувства и держится на понимании собственного слова как Божьего: «И этот голос мой — часть гласа Твоего». По мысли Владимира Гоголева, Господь живёт в самом человеке («И это тело всё ж — часть хлеба Твоего»), поэтому и человеческое слово — тоже Господне Слово. Так Бог проявляется в мире — через человека, «потонувшего», «пропавшего», то есть отрешённого от всего земного, внешнего, лишнего, но при этом как бы предстоящего перед лицом самого мироздания, прозревая его суть, обращаясь к бытию в живом слове, которое обязательно «встречает отклик»:

*Когда бы не ваши, пропавшие в мире, глаза,
Кто бросил бы в мир ледяное дыханье псалма?
Вращение неба... кто стал бы его обращать,
Когда бы не этот, в груди вырастающий глад
По тёмной реке, по ночному струенью дождя...*

³ Стратановский С. Религиозные мотивы в современной русской поэзии: Статья 3 // Волга. — 1993. — № 6. — С. 145.

*По каплям немым, прибегающим жар утолить?..
Когда бы не жажда взволнованно-тающих губ,
Кто к нам обратил бы листа зеленеющий край?*

Эти «взволнованно-тающие губы» «круговращают радостное слово». Радостное — потому что в нём живёт Господь. Собственно, и жизнь, которая осуществляется «в поминании Бога», наполнена светом и радостью («В поминании Бога / Радость долга»).

Однако парадоксально, что живое слово произносится немым героем («Хотя какое слово у него»). В художественной системе Владимира Гоголева слово и молчание (немота) оказываются тождественными понятиями: «И любит слово тайную охоту... / Всех пуще любит горькую немоту». Такая концепция противоречит традиционным культурологическим представлениям, где немота как метафора смерти всегда противопоставляется слову как метафоре жизни. Но дело в том, что Гоголев уравнивал не только слово и молчание, но и смерть и жизнь. В уже упомянутом эссе «Охваченность» поэт говорит о тех вещах, которые во многом проясняют смысл его творчества и судьбы: «Мне знаком символизм смерти, я не знаю лучших ограничений, чем те, которые дал философии Платон: упражняться в смерти и умирании <...> Мне хотелось жить смертью, как ею живут камни. Может быть, как ею живут корни растений»⁴.

В логике философско-поэтологических представлений Владимира Гоголева «жить смертью» — это не значит не быть: это значит пребывать в инобытии, в той самой точке неразличимости, в которой человек есть составляющая общего «хора», в которой он обретает чувство сопричастности всему сущему, ощущение невыделенности из мироздания, слитности со Всем, то есть с Господом. Господь же, по мысли Гоголева, именно там, где есть эта неразличимость, а возможна она только в глубоком молчании и в отсутствии всяких проявлений внешней жизни:

*Тяжёлому камню Ты близок,
Всесильный Господь.
И всем потонувшим,
И в глуби лежащему дну.
И рыбе немой,
И сухому на древе листу.*

⁴ Гоголев В. Указ. соч.

Такая немота и является подлинным Словом — словом «давно потонувшего», обращённого в себя, а не вовне.

Слово произносится, поскольку событие переживается, но при этом речь не проговаривается вслух, остаётся внутри человека. С одной стороны, тождественность слова и молчания объясняется трагическим характером самого переживания. В контексте духовной лирики Владимира Гоголева такое трагическое переживание связано с вечным сюжетом распятия, с пониманием собственной «чаши» как мученической: «Распятого глас / Онемелей всех тяжко немых, / Но высказан вечно...», «Я всё же немой, / Как в огне погибающий бор» (сравним со строками Анны Ахматовой: «А туда, где молча мать стояла, / так никто взглянуть и не посмел»: Мария молчит в страдании, но это не значит, что у неё нет слов). У Гоголева же молчит не только отдельный человек, но и весь «хор»: молчание носит соборный характер, поскольку связано с переживанием масштабной трагедии — трагедии русской истории:

*Сложенье русских губ от века таково:
Безгласность их — как хлеб помола Твоего,
Их освещает скорбь во мраке на земле.
И много не собрать им упоённых слов.
В страданье, голос мой, немного говорят.*

*Шёл к очагу — попал на пепелище.
Но не отдам врагу
Руины сладкой пищей...
В расщелинах — мерцанье русских губ,
И шёпот их — возмездие несущий.*

Так антитетичные категории у Гоголева выстраиваются в синонимические ряды: жизнь = смерть, слово = молчание, радость = скорбь. Последние уравниваются, поскольку бытие в Боге есть радость скорбящая, радость сопричастности всему, обретаемая через переживание трагизма бытия, сопереживания Христу («Если бы не было в мире великом креста, / Я бы уснул, — и напрасно меня не буди»).

С другой стороны, молчание равнозначно слову, поскольку глубинное невыразимо, равно как и Господь невыразим, человек

перед Ним нем и слеп: «Он возвышает вновь благодаренье, / Хотя какое слово у негого, / И у слепого какво прозренье?».

Но есть ещё одна причина тождественности слова и молчания. Да, мир создан Богом по Слову: «Всё исполнено речью, и не было в мире пустот, / Никогда не случилось, чтоб чаша была не полна». Но при этом «когда речь началась, тогда и закончилась речь», то есть стала невыделенной из бытия, стала самим бытием, уже не Словом, а, например, «недвижным камнем», немое существование которого и есть говорение о проживаемой им смерти.

Возможно, именно такое понимание мира, Бога, Слова и предопределило суть жизненной и художественной позиции Владимира Гоголева. Его — видимо, сознательный — отказ от участия в литературном процессе эпохи, возможно, был связан с установкой на глубоко внутреннее бытие, на проживание смерти как невыделенности из общего. Здесь остаться «не известным никому человеком» (Ольга Васильева) — значит быть равным себе, равным своему слову.

Владимир Гоголев трагически погиб в 1989-м году: его убили неизвестные, тело было сильно обезображено. По словам Натальи Стеркиной, есть версия, что его перепутали с диссидентом, издателем христианского журнала «Чаша» Александром Огородниковым (в тот день Владимир помогал девушке донести швейную машинку, которую могли принять за печатную). Наверное, это своего рода предопределённость, когда жизнь человека, страдающего за Христа и со Христом, человека, который, следуя завету Платона, «упражняется в смерти и умирании», обрывается мученически: по сути, это тоже есть исполнение и воплощение поэтического Слова.